

лесу» — «желая кушать завтрак». Примеры умножить, к сожалению, нетрудно. «Ресницы» — неровная книга. И все же — живая, дышащая, заставляющая ждать продолжения.

...По правде говоря, давно хотелось чего-нибудь в этом роде. Да-да, хотелось. После долгого перерыва со стихами Кальпиди в современную поэзию как ни в чем не бывало вернулся давно похороненный масштабный «лирический герой» как персонификация индивидуальной и поколенческой судьбы. Опыт Кальпиди отвечает определившейся тяге к прямому лирическому слову, к давно забытому пафосу, к безусловности лирического жеста — как попытка Большой Лирики в ситуации постмодерна.

И эта попытка не выглядит провинциальным казусом.

Владимир АБАШЕВ.

Пермь.

*

«ЛЮДИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ»

Юрий Арабов. Механика судеб. Опыт драматургии «действительной жизни». М.,
Издательский дом «Парад», 1997, 239 стр.

Эта книга не претендует на то, чтобы дать
ответы на конечные вопросы бытия.

*Подпись под фотографией автора
рецензируемой книги.*

Не претендует. Претендует она на создание теории «выстраивания Богом человеческой судьбы по внятным и познаваемым законам». Тоже ничего себе. Замысел книги, по признанию автора, «родился только из одного-единственного вопроса: работает ли Господь Бог как драматург, соответствует ли понятие „судьбы“ тем законам, которые мы знаем из теории драматургии?». Причем, «когда этот вопрос был задан, к автору будущей книги пришел законный ужас — как человек начитанный, он сразу понял, что речь идет об исповедимости путей Господних, о том, в сущности, каковы механизмы Воздаяния, или Кармы».

«Ух, погодите, дайте дух перевести», — как восклицал герой Достоевского, ей-богу, с меньшими основаниями. О приходе к автору «законного ужаса» опускаю — понятно, не до стиля, когда речь зашла об исповедимости путей Господних. Но почему открытие механизмов воздаяния, или кармы (что не совсем одно и то же), ведет к познанию путей Господа? Еще греческая трагедия (кстати, положившая в основу своей драматургии законы «судьбы» — так что замысел автора в некотором смысле «обречен» на успех в силу замыкания круга), — так вот, еще греческая трагедия, создавая на основании механизмов воздаяния (или рока) область необходимости (почти сплошную), все же оставляла некоторую область свободы — и это была область действия высших богов. Самый очевидный пример — «Эвмениды» Эсхила. Христианство же разорвало цепи необходимости и рока, воссоединив человека с Богом и предоставив ему возможность безграничной свободы, в том числе, конечно, и свободы, отвернувшись от Бога, ввергнуть себя вновь в вязкую топь необходимости. Но необходимость, «механизмы судьбы» — и Бог — вещи несовместные. Господь не ходит путями необходимости и избавляет от них человека.

Не то чтобы автор совсем об этом не помнит. Но память сия никак не влияет ни на его послылки, ни на выводы. Говоря о том, что кармическое «механическое» воздаяние преодолевается христианским «Таинством покаяния и причастия», он, похоже, своих «героев» — христиан все ж таки по рождению, а отчасти и по воспитанию (а в конце концов — и по свободному выбору) — считает к этому как бы и непричастными.

И вот механика воздаяния в жизни Пушкина становится прямолинейной до смешного. В юности замужних дам соблазнял? Получи. В дуэлях участвовал? По-

лучи. И сам Александр Сергеевич из «умнейшего мужа России» превращается в заводного болванчика, мечущегося без смыслу и без толку в зависимости от указаний «суеверных примет».

Юрий Арабов жалуется на неадекватное восприятие его работы первыми публикаторами, и эти жалобы, пожалуй, кое-что проясняют. «Книга появлялась на свет кусками, и уже с первой главой, попавшей в руки издателей одного московского журнала, произошел казус — автор был обвинен в принижении роли Пушкина и в „тенденциозном подборе фактов“». Хочу объяснить заранее — ни жизнь Пушкина как таковая, ни „тенденциозный подбор“ автора не интересуют ни в малейшей степени. К жизни Пушкина интерес у автора был отбит еще со времен средней советской школы, изображавшей мальчика с пышными бакенбардами у ног ветхой старушки, которая рифмовалась со словом „кружка“, — от этой картины никто из нашего поколения так просто не оправился, и следует признать чудом, что само слово „Пушкин“ не вызывает у нас почему-то спазмов и конвульсий. Жизнь Пушкина используется здесь только в качестве некоего „наглядного материала“ (заранее приношу извинения за неудачную формулировку), не более. То же самое и с „тенденциозными фактами“. Если бы автор был озабочен подобной проблемой, то обязательно включил бы в материал книги всякого рода скабрёзности по отношению к своим героям, скабрёзности, кстати, вполне утвердившиеся в нашем массовом сознании.

Пафос этого отрывка весьма способствовал «приходу ко мне законного ужаса», а непонимание автором обращенных к нему претензий удивило. Он, кажется, считает «тенденциозными фактами» исключительно расхожие пошлости. Но тенденциозным делает факт сама его выборка из ряда других, отбрасываемых за ненадобностью, чтобы не «замутняли» или не «искажали» картину с точки зрения исследователя, одержимого теоретической мыслью. Правы были «издатели одного московского журнала»: от того или иного подбора фактов «механика судьбы» способна предстать в очень даже разных видах.

Не нужно никаких скабрёзностей: сама попытка представить Пушкина и Гоголя исключительно в плоскости их земной жизни (и земной смерти), вне христианской связи с Богом, и исключительно в векторе причинно-следственных связей, вне вектора телеологического, есть не просто принижение роли того и другого, она — принижение их самих. Автор действительно изображает «героев», или «людей человеческих», по выражению А. Сокурова, предпославшего книге коротенькое предисловие, и это определение отрывает их от Бога, замыкая в круге механизмов воздаяния, законов кармы, в круге Вечного Возвращения. Автор лишает «героев» свободы и ответственности, ибо какая свобода, если действует «механизм», и какая ответственность у призванных к ответу. Это ли не принижение?

Самым достойным среди «персонажей» Арабова оказался Наполеон. Названный автором «господин А.» (то есть — антихрист), он все же удостоивается возможности выбирать, и в последствиях его выбора (поистине «роковых» для Наполеона) автору удается разглядеть торжество человечности, в бедах, обрушившихся на героя, — увидеть победу могучего духа, отрекшегося от зла (Зла таких масштабов, что оно способно хранить того, кто примет его сторону, от всех напастей, включая пули и железо, заговоры и измены, ненависть королей и непостоянство подданных). То есть — увидеть наконец в невзгодах человеческих нечто, во-первых, являющееся следствием свободного выбора, во-вторых, выбора, достойного уважения. Здесь, однако, покорило автора именно торжество человеческой природы, отказавшейся во имя себя самой от могущественного покровительства и дарованного всемогущества. И здесь тоже присутствует лишь «человек человеческий». Арабов восхищенно приветствует сумевшего подняться из бездны, но с пренебрежением относится к усилиям и стремлению тех, кто уже находится на этой ступени, подняться выше.

И слог, слог. Боже, какой слог... Иногда иначе и не назовешь, кроме как — «подлый». Не часто, но вот, например: «Движение славного воинства в сторону Индии по дороге, которую „знал“ Платов, продолжалось, по-видимому, до 11 марта 1801 года, когда инициатор похода государь Павел Петрович был благополучно

пришиблен в своем дворце теми, кому идея завоевания Индии показалась преждевременной».

И поначалу хочется отделаться от книги, сказав, что «она не стоит слов, взгляны — и мимо». Но нет, стоит.

Стоит по двум причинам. Во-первых, она весьма симптоматична. К сожалению, достаточное количество начитанных людей, интересующихся подобными вопросами, не видит принципиальной разницы между путями Господними, между Господней волей, без которой волос не упадет с головы человека, и «механизмами» кармы. Попробую объяснить на простом примере. Для описания «механизма» кармы в предельно простом случае годится схема из кинофильма «Джентльмены удачи»: «Украл, выпил — в тюрьму». Здесь все завязано причинно-следственными связями, и неадекватное по отношению к «миру» поведение индивида (в нашем случае — «украл») через ряд опосредующих ступеней (здесь редуцированных до одной — «выпил») приводит к неизбежному воздаянию («в тюрьму»), в сущности запрограммированному первым членом ряда.

(Тут же как раз можно показать разницу между «роком» и «кармой». Описанный процесс — процесс воздаяния в пределах одной жизни — это скорее механизм действия рока. В случае «кармы», то есть воздаяния при «новом воплощении души», получается, по видимости, так, что украл и выпил не ты, а сидеть тебе. Впрочем, механизм действия рока продолжается в роде «до седьмого колена» — и тогда «сидеть» приходится за папу или за бабушку.)

Для описания, простите, действия Господней воли эта схема не годится. Вернее, должна быть чуть-чуть видоизменена. Если мы оказываемся в мире свободы, то, что было в первом варианте последним членом ряда, здесь оказывается первым членом следующего ряда. Иными словами, «в тюрьму» человек попадает не по чему-то (причинно-следственная связь), а для чего-то (связь телеологическая, целеполагающая). То есть то, что являлось наказанием, завершением, не имеющим отношения к последующему, а потому вполне допускающим буквальное повторение (новый этап: «Вышел, украл, выпил — в тюрьму»), здесь есть Господень оклик, требующий от человека свободного и адекватного ответа. Достоевский, скажем, идет на каторгу не потому, что публично читал письмо Белинского к Гоголю, а для того, чтобы начался тот процесс, который потом будет им назван «перерождением убеждений». Кстати, сам Достоевский это прекрасно понимал. Вот что он говорил, например, Всеволоду Соловьеву, сраженному тяжелой депрессией:

«Голубчик, послушайте меня, сделайте с собою что-нибудь, иначе может плохо кончиться... Ведь я вам рассказывал — мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... И только что было решено, так сейчас все мои муки и кончились, еще во время следствия. Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и — вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?... я писал „Маленького героя“ — прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом чем дальше, тем было лучше. О! это большое было для меня счастье: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу!

Это было сказано до такой степени горячо и серьезно, что я не мог не засмеяться и не обнять его.

— Федор Михайлович, за что же меня на каторгу?! или вы мне будете советовать, чтобы я пошел да убил кого-нибудь?!

Он сам улыбнулся.

— Да, конечно... ну придумайте что-нибудь другое. Но знаете, ведь это было бы для вас самым лучшим...»

В этом отрывке «каторга» настолько очевидно начало для Достоевского, что он совершенно упускает из виду необходимость какой-либо причины для

попадания туда. Причем из приведенного отрывка ясно, что оклик Господень — не только возможность ответа, но и — даже если выглядит как суровейшее наказание — именно то, что потребно душе в эту минуту, лучшее для нее. Милость Господня.

Вот эта-то милость и исчезает из сценариев жизни «людей человеческих» вместе со свободой и ответственностью. Эта милость исчезает из жизни людей, заламывающих руки с воплем: «За что?» — вместо того, чтобы спросить: «Зачем?»

Словом, как пишет Владимир Соловьев в знаменитой работе «Судьба Пушкина» (имеющей довольно-таки непосредственное отношение к предмету, но, кажется, оставленной автором без внимания): «В состав той *необходимости*, которою управляются наши жизненные происшествия, *необходимо* заключается и наше собственное личное отношение к этой необходимости; а это отношение, в свою очередь, необходимо связано с тем, *как* мы понимаем господствующую в нашей жизни силу, так что *понятие наше* о судьбе есть также одно из условий *ее действия* через нас. Вот почему иметь *верное* понятие о судьбе важнее для нас, нежели знать химический состав воды или физические законы тепла и света».

Есть и вторая причина, по которой об этой книге стоит говорить. Дело в том, что интуиция автора сильнее и богаче его анализа. Будучи сценаристом-профессионалом, Юрий Арабов формирует и направляет (хочется сказать — «лепит») взгляд читателя, выстраивая достаточно известные факты жизни своих «героев» так, что энергия, разгон взгляда выносят за рамки авторских теоретических толкований материала. Иначе говоря, написанные Арабовым «сценарии жизни» Пушкина, Гоголя и Наполеона обладают достаточным уровнем суггестивности, чтобы вызывать к читательской интерпретации, минуя интерпретацию авторскую.

И вот здесь, не проговоренные впрямую (и неизвестно, до какой степени отрафлексированные автором), возникают «гипотезы» достаточно красивые, чтобы от них просто отмахнуться (ибо красота — это, безусловно, аргумент, и, на мой взгляд, аргумент серьезный).

Одной из таких «гипотез» является постоянное «зеркальное» совпадение Дантеса с молодым Пушкиным. Как будто Пушкин зрелый столкнулся с самим собой, но с собой, лишенным гениальности — и, значит, с почти карикатурно увеличенными чертами «светского повесы», «гуляки праздного». Свято место пусто не бывает, а с упразднением гениальности в личности освободилось много места. Как будто «молодой повеса» посягнул на самого себя — зрелого, как будто рука, научившаяся в юности для забавы бить без промаха пулю в пулю, не промахнулась и теперь — вопреки сознательному желанию Дантеса. И как будто зрелый Пушкин опознал и возненавидел в Дантесе себя в юности. И тогда дуэль — которая почиталась многими попыткой самоубийства со стороны поэта — становится невозможной без пушкинского выстрела, ибо это выстрел — в себя, в свою безумную и распутную юность, лицемерие которой и доводит поэта до слепой ярости и безумной ненависти к тому, кто ее в тот момент воплощает.

Частично автор прописывает то, что «показывает» его текст: «Все, что Пушкин совершал в юности сам, вдруг обратилось против него в зрелости в увеличенном, безобразно гротескном образе». (Впрочем, и эта фраза звучит скорее моралистически, чем мистически.) Но чего-то явно не замечает, иначе невозможно было бы такое, почти финальное, рассуждение: «Мы поняли, что ни „горячая кровь“, ни нужда, ни обида на властей не объясняют причин черного дня на Черной речке. „Черт“, „судьба“ или самоубийство более удовлетворительны как объяснения. Только в последнем случае — небольшая закавыка: отчего человек, решивший простиаться с жизнью, обязательно хочет утащить на тот свет своего противника? Помните, как говорил уже смертельно раненный Александр Сергеевич: „Как поправимся, так снова начнем“. Отчего? Оттого, чтобы не скучно было умирать одному? Нет. И в версии самоубийства психологические „концы с концами“ не сходятся».

Пожалуй, самое поразительное в этой книге — сочетание иногда немыслимой красоты «сценарных» построений, дающих основания для ряда красивых интерпретаций, с беспомощностью выводов, которые делает автор (выводы попадают и очень интересные, но всегда на несколько порядков уступающие скрытым в тексте возможностям).

А беспомощность эта, как мне кажется, является следствием постмодернистской неструктурированности (то есть — не иерархичности) тех знаний, которыми обладает часто весьма начитанный и заинтересованный человек, уверенный, судя по всему, что к нему-то постмодернизм не имеет никакого отношения. Только смутностью и смазанностью в сознании реалий, стоящих за словами, можно объяснить следующий текст: «Взятие псевдонима, новое имя способствует как входу в карьерный мир, мир „житейского попечения“, так и выходу из него в мир религиозного служения и подвижничества. Псевдоним как вход был рассмотрен нами выше — это судьбы и революционеров, и артистов, получивших вдруг популярность, и многих других. Псевдоним как выход — это то, что происходит с человеком, когда он принимает монашество. Важнейшая часть этого принятия — смена имени, „забывание“ имени прошлого, мирского. Через это происходит как бы отрешение от судьбы в миру, от прошлой причинно-следственной связи. Новое имя, которое дают монаху, завязывает для него и новую карму, новые узлы, которые через некоторое время дадут новые следствия и развязки» (Приложение 1. Подложное имя). Комментировать с точки зрения различных несоответствий это в основе своей весьма небесмысленное размышление можно бесконечно. Укажу лишь на то, что онтологически невообразимо: употребление при разговоре о «человеке, принимающем монашество», слов «псевдоним» и «карма».

Впрочем, здесь круг замкнулся, мы вернулись к началу нашего разговора. «Эта книга не претендует...»

Татьяна КАСАТКИНА.



ПИЛИГРИМ В МОРЕ

Пер Лагерквист. Сочинения. В 2-х томах. Харьков, «Фоллио», 1997. Т. 1. Повести и рассказы. Эссе. Пьесы. 1915 — 1939. 685 стр. Т. 2. Повести и романы. 1940 — 1967. 541 стр.

Лучше всего начинать чтение Лагерквиста с его старой повести «В мире гость». Не оттого лишь, что она откровенно автобиографична, хотя важно и это. Шведский писатель известен прежде всего как мастер иносказания и притчи — жанров, для которых конкретика описания, первоматерия жизни далеко не самое существенное. А меж тем, даже если действие перенесено на двадцать веков назад и разворачивается в Дельфах или в Иерусалиме, какой-нибудь поворот сюжета в конце концов непременно напомнит, до чего глубоко впитал Лагерквист впечатления ранней поры своей жизни.

Повесть, вышедшая в 1925 году и положившая начало писательской известности Лагерквиста, воссоздает атмосферу, в которой он вырос, с ностальгией, иронией и неприязнью. Тонкая градация этих оттенков стала самым запоминающимся эффектом повествования. Впоследствии такие сочетания противоположностей, или, пользуясь специальным термином, оксюмороны, сделались у Лагерквиста привычными. Но для его первых читателей они были новшеством. И производили особенно сильное впечатление из-за того, что герой повести был явным двойником ее автора. До чего странная гамма чувств для человека, вспоминающего свои юные годы.

В том, что Андерс — тот же Лагерквист, не могло возникнуть и тени сомнения. Все совпадало: закопченный вокзал маленького северного городка, квартира над станционным буфетом, косность житейских установлений, непоколебимая прочность верований. Отец Лагерквиста прослужил на железной дороге в Вэкшё десятки лет. Был он из тех, кто «словно знают, что ничем их не возьмешь, что они задуманы навсегда и никакой пагубе недоступны». Для таких людей жизнь менее всего выглядит беспорядочной и бессвязной. Им дико представить, что в чьих-то глазах жизнь — «планомерная бессмыслица», и только.

А именно так ее воспринимает подросток Андерс. Ему уже знакома душевная неприкаянность, типичная для уходящего (а тогда только начинавшегося) века.